ВАЛЬТЕР РАТЕНАУ.

НОВОЕ ГОСУДАРСТВО

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

С ПРЕДИСЛОВИЕМ

Я. М. БУКШПАН.



МОСКВА 1922.

Б. У.

ВАЛЬТЕР РАТЕНАУ.

НОВОЕ ГОСУДАРСТВО

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

С ПРЕДИСЛОВИЕМ

Я. М. БУКШПАН.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „БЕРЕГ“.
МОСКВА — 1922 г.

(Р. Ц. Москва). 364. Отпеч. 2.000.

20-я Государств. типография (бывш. Кушнерева) Пименовская ул. д. 1/16.

Вальтер Ратенау.

Вальтер Ратенау один из самых интересных и примечательных людей современной Германии. Крупный промышленник, инженер, философ—публицист, государственный деятель и дипломат он пользуется большой популярностью на своей родине, но в то же время имеет немало критиков, антагонистов и политических противников. По своему происхождению он унаследовал видное общественное положение, имя и крупное состояние. Его отец Эмиль Ратенау организатор и учредитель крупнейших промышленных предприятий Германии, в частности, родоначальник известной „Всеобщей Компании Электричества“ дал ему надлежащее воспитание, сообщил свой предпринимательской опыт и вывел его в люди большого государственного стиля. Вальтер Ратенау родился 29 сент. 1867 г. в Берлине. Детские и юношеские годы он провел так, как полагается в семьях его круга. Иностранные языки, гимназия, прерываемая продолжительными путешествиями, спорт, живопись. После окончания гимназии (в 17 лет) и некоторых колебаний между живописью, литературой и естественными науками молодой Ратенау остановился на физике и химии, как основах современной техники. Студенческие годы провел в Берлине, Страссбурге и снова в Берлине. В своих усердных занятиях Ратенау особенно обязан успехами профессорам Кундту по экспериментальной физике, Гельмгольцу по математической физике, Гофману по химии и Дильтею по философии. В 1889 г. (22-х лет) получил звание доктора, представив научную работу о поглощении света металлами. В дальнейшем он специализировался в электротехнике, в особености в области электрохимии. Он провел дополнительный год в мюнхенском политехникуме, изучая машиностроение и прикладную химию; служил в качестве рядового техника в одном швейцарском аллюминиевом предприятии и открыл способ получения хлора и щелочных металлов при помощи электролиза. В

1893 г. им основаны были электрохимические заводы, в которых применялся этот новый способ. Ратенау стал во главе созданных предприятий. Он соорудил еще новые заводы в Биттерфельде и Рейнфельдене, в Польше, и во Франции. Ему удалось распространить свои открытия на добывание ферросилиция, хрома, натрия, магния.

После семи лет настойчивой работы в маленьком фабричном городке Биттерфельде, когда производство доведено было до надлежащей высоты, Вальтер Ратенау решил отстраниться на время от промышленной деятельности и поработать на литературном поприще. Первые его опыты на страницах „Zukunft"—журнала его друга Максимилиана Гардена—относятся к 1889 г. Затем он вновь один из директоров „Всеобщей Компании Электричества" становится руководителем отдела по постройке центральных станций. В течение трех лет работы в этой области он организует электротехнические установки в Манчестере, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Баку, связывается с крупными иностранными электрическими трестами.

Попутно со всем этим он занимается литературной работой. К тому времени (1901) относится его первая книга „Jmpressionen", которую он теперь после своих духовных достижений считает незначительной. С 1902 г. занимается вопросами финансирования промышленности, принимая участие в банковых предприятиях и состоя акционером многочисленных промышленных фирм, в то же время председателем совета Всеобщей Компании Электричества.

В 1907 г. по предложению рейхсканцлера Бюлова и Бернгарда Дернбурга (статс-секретаря колоний) Ратенау объехал германские колонии Восточной и юго-западной Африки, а также английские владения в Африке (в 1908 г.) Отчеты об этой государственной командировке были опубликованы, при чем колониальным делам в Восточной Африке посвящена его большая книга „Reflexionen", появившаяся в 1908 г. Следующая работа—„Zur Kritik der Zeit", появилась в 1912 г. затем в 1913 г. „Zur Mechanik ges Geistes".

В 1915 г. после смерти отца Вальтер Ратенау становится председателем В. К. Э., которой посвящена и дальнейшая деятельность.

С началом войны уже 4 авг. 1914 г. Ратенау предлагает военному министерству план организации военно-промышленных сырьевых обществ (Kriegsrohstoffgeselschaffen), регулирующих заготовку, внешнюю торговлю, снабжение и распределение основных видов химической промышленности, металлов, хлопка, шерсти и др. пред-

мстов, необходимых для поддержания боевой готовности Германии. Начав с нескольких служащих в двух комнатах военного министерства, Ратенау развернул громадный отдел в этом ведомстве и положил начало всей системе военно-хозяйственного регулирования, которой так отличалась Германия в минувшую войну. Теперь, когда Kriegswirtschaft и Zwangswirtschaft встречают в Германии уничтожительную критику и обнаруживаются многочисленные дефекты этой, казалось, блестящей системы, Вальтер Ратенау подвергается резким нападкам своих политических противников, критиков военного социализма, промышленной социализации и других видов „этатизма". Свой военно-промышленный опыт Ратенау обобщил в статье: „Deutschlands Rohstoffversorgung".

С 1916 года Вальтер Ратенау становится весьма плодовитым писателем, выпуская каждый год по несколько литературных работ [1]), выдерживающих многочисленные издания.

Сочетая в своей деятельности философско-публицистические занятия с финансово-техническими и промышленными комбинациями крупного предпринимателя; являясь буржуа большого размаха и в то же время имея близкие к социализму воззрения; общаясь с практиками жизни—инженерами, генералами, чиновниками, министрами и партийными лидерами, и по своему стремясь к вершинам чистого познания; будучи евреем и в то же время близким лицом к императору; соединяя в себе германский патриотизм пруссака с французской светскостью космополита и немецкий идеализм с англо-американской деловитостью—Ратенау всегда давал повод для самых разнообразных против него выпадов, критических разоблачений и памфлетов. О нем имеется целая литература, полная восхвалений, восторгов, ненависти и полемических страстей.

В 1921 г., как сторонник западнической (французской) ориентации в германской политике, он принимает участие в переговорах в Спа, а затем и в Висбадене с Лушером. В июне 1921 г. становится министром восстановления хозяйства (Wiederaufbau), а в феврале 1922 г. Министром Иностранных Дел.

Литературно-философская физиономия Вальтера Ратенау довольно своеобразна и представляет собой духовное явление симптоматическое для культурного европейца нашего времени. Своеобразие его— в стиле, в манере письма, в лапидарных искрообразных блестящих

---

[1]) См. приложенный список.

формулировках, в легком понимании самых трудных проблем в их какой-то практически-жизненной ощутительности. Симптоматичность— в неудовлетворенности, в томлении духа, в искании новых идей, нового смысла с неустрашимостью диллетанта и размахом новатора. Не наука, которые познает существующее, а интуиция и вера средства его постижения и предвидения, и в этом смысле Ратенау находится отчасти под влиянием Бергсона. Мы живем в эпоху универсальной механизации жизни, механизации духа („Mechanisierung des Geistes“). Рассудочность, интеллектуализирование, принцип целесообразности— вот черты нынешнего времени. Должно наступить освобождение души из ее оков, из опустошительного для духа коловращения современного большого города. Его идея: одухотворить хозяйство, государство, промышленный труд и повседневную жизнь, и когда он трактует о самых материальных вещах, то чувствуется, что все это делается в интересах духа. Этими мотивами проникнуты самые интересные его работы „Zur Kritik der Zeit“, „Von kommenden Dingen“ и „Zeitliches“.

Его хозяйственные воззрения основаны на той мысли, что „хозяйство не есть дело отдельных людей, а дело общественности“. Он мечтает о таком частном хозяйстве, которое оставаясь самостоятельным, руководилось бы интересами целого, которое бы автономно принимало гипостазированную в государстве волю общества и ощущало бы ее не как навязанную, а как проявление свободного духа. Он считает, что собственность, потребление и право на удовлетворение потребностей не может быть частным делом.

Ратенау мучительно ищет гармонического сочетания индивидуальной свободы духа с организованной государственностью социального целого, как высшего единства.

Его социалистические (не в обычном, а скорее в прусско государственном смысле) идеи рассеяны по всем статьям и работам, посвященным критике современного общества, хозяйства и государства. Особенно остро формулированы эти мысли в „Probleme der Friedenswirtschaft“, в „Neue Wirtschaft“, „Autonome Wirtschaft“, „Die neue Geselschaft“, „Von kommenden Dingen“.

Предлагаемая в переводе работа „Новое государство“ с несколько иным подходом критикует современное государство европейского типа с его непредметным деланьем культуры с его неработоспособным и неадэкватным существу дела парламентаризмом. Ратенау мечтает об органической цельности и одухотворенности государства

построенного на корпоративных, профессиональных представительствах, на таких Советах, которые бы на самом деле совместно, плюралистически (вместо формально единого парламента) осуществляли бы единство государства. Он убежден, что такая советская система призвана заменить собою идею западно-европейского парламентаризма. Он предсказывает это в другой книге „Kritik der dreifachen Revolution“.

Ратенау особенно интересен всегда своим трепетным отношением к будущему. Он всегда стремится не только знать, видеть, но и предвидеть, связать современность со смыслом прошлого и предвестием будущего. Его многочисленные статьи о Германии, о судьбе германской нации, о войне, об ее исходе, об императоре („Der Kaiser“ выдержало десятки изданий), об его—Ратенау—предостережениях Вельгельму II, Людендорфу насчет опасностей затяжной войны—все это и в момент опубликования, и даже сейчас привлекает внимание остротой и смелостью суждений, провиденциальностью, и в общем глубоко трагично, как судьба и неудача германского народа... Особенно много достается теперь Ратенау за прошлые ошибки, противоречия и несоответствия в его прогнозах, предсказаниях и высказываниях, но нет ничего легче, как теперь находить все это в выступлениях столь разнообразного, смелого и модернистского деятеля, каким является Вальтер Ратенау.

Изучение Ратенау, несмотря на его часто диллетантское трактование многих вопросов, несмотря на публицистическую злободневность многих специально немецких тем—представляет для нас русских существенный интерес. Оно помогает нам понять смысл нашего кризиса в связи с судьбой западно-европейской культуры.

Я. Букшпан.

Москва, март 1922 г.

Список сочинений Вальтера Ратенау.

Первая книга, относящаяся к 1901 г., „Impressionen". В 1908 г. опубликован большой том его „Reflexionen".

Пять томов, изданных в 1918 г. S. Fischer'ом (Berlin), заключают в себе следующее:

T. I. Zur Kritik der Zeit (1912).
Mahnung und Warnung (1908—1914).
Über Englands gegenwärtige Lage.
Politik, Humor und Abrüstung.
Staat und Judentum.
England und wir.
Politische Auslese.
Parlamentarismus.
Eumenidenopfer.
Deutsche Gefahren.
1813.
Zur Lage.
Geschäftlicher Nachwuchs [1]).

T. II. Zur Mechanik des Geistes (1913).
Einleitung und Rechenschaft.
Die Evolution des erlebten Geistes.
Die Evolution des erschauten Geistes.
Die Evolution des praktischen Geistes.
I. Die Ethik der Seele.
II. Die Ästhetik der Seele.
III. Die Pragmatik der Seele.

T. III. Von Kommenden Dingen (1917).
Einleitung.
Das Ziel.
Der Weg der Wirtschaft.
Der Weg der Sitte.
Der Weg des Willens.

T. IV. Aufsätze. (1903—1917).
Von Schhwacheit, Furcht und Zweck.
Ein Traktat vom bösen Gewissen.

---

[1]) Напечатано добавлением к отдельному изданию „Zur Kritik der Zeit" 1919.

Das Grundgesetz der Ästetik.
Widmungen.
Geschäftliche Lehren.
Vom Wesen industriellen Krisen.
Vier Nationen.
Englands Industrie.
Massengüterbahnen.
Promemoria betreffend die Begründung einer Königlich preussischen Geselschaft.
Schule und Bildung.
Ungeschriebene Schriften.
Physiologisches Theorem.
Frühere Schriften (1898—1901).
Zur Physiologie der Geschäfte.
Die Resurrection Co.
Talmudische Geschichten.

T. V. Réden und Schriften (1915—1917).
Gedächnisrede für Emil Rathenau.
Deutschlands Rohstoffversorgung.
Probleme der Friedenswirtschaft.
Eine Streitschrift vom Glauben.
Vom Aktienwesen.
Die neue Wirtschaft.

Кроме пяти томов опубликованы отдельными изданиями новые сочинения:

Zeitliches (1918), 25 изданий.
Autonome Wirtschaft (1919).
Der neue Staat (1919), 15 изданий.
Die neue Geselschaft (1919), 16 изданий.
Kritik der dreifachen Revolution (1919).
Nach der Flut (1919), 15 изданий.
Der Kaiser (1919), 50 изданий.
Demokratische Entwicklung (1920).
Was wird werden (1920).

Разные статьи из пяти томов и из других изданий вышли также в виде отдельных книжек.

Напр.: „Zur Kritik der Zeit" (из I т.), 17 изд.; „Von kommenden Dingen" (из III т.), 65 изд.; „Die neue Wirtschaft" (из V т.), 49 изд.; „An Deutschland's Iugend" (1918).

Многочисленные статьи в газетах и журналах: „Zukunft", „Berliner Tageblatt", „Vossische Zeitung", „Frankfurter Zeitung", „Tag" и др.

Новое государство.

1.

Наступило мгновение,—которого нигде так не боялись, как в Германии,—когда нужда заставляет нас вмешаться в существующее, исторически-сложившееся, чтобы творить еще небывалое.

Империя и государства погибли и должны вновь возникнуть.

И теперь, так как мгновенйе велико и выпадает из обычного хода времени, внезапно обнаруживается в своем истинном свете столь многое, что ранее частью было затуманено, частью стало невидимым в силу давней привычки; последствия чего мы видели, не доискиваясь, по инертности, их причин.

Теперь обнаруживается, почему ученость заснула в историзме, не уставая, по старому приему, восхвалять медленно возникшее, мнимо естественные и богоданное и хулить сознательный, построяющий разум.

Почему? Потому что творчество без готовых образцов не соответствует нашей природе, так как мы привыкли перенимать формы, изменять их, наполнять их содержанием, но не творить формы.

Теперь обнаруживается, почему строй империи и государств, почему администрация и иерархия были неестественными, запутанными механизмами, которые годились для медленного движения при хорошей погоде, при бо́льшем напряжении тормозили движение, и в настоящем состоянии оказались непригодными.

Почему? Потому что партикуляризм был лишь на третью часть тем, чем он должен был быть,—самосознанием и своеобразием племени. На две трети он был тем, чем он нам являлся: тихой ненавистью между братьями, ленивой склонностью к привычному, личным раздором.

Теперь обнаруживается, почему оказалось возможным, что мы запоздали по меньшей мере на столетия, оставшись островом феодализма.

Почему? Потому что была какая-то правда в том, что в минуты интимности высказывали феодальные господа. Нас сдерживала кора милитаризма. Наша масса мягка; теперь, когда когда кора надломлена, масса растекается, широко и безформенно. Уже нельзя больше распознать наших национальных качеств—самосознания, уверенности в себе, даже чувства чести; мы подобны сарматским толпам. Плазма не хочет оформиться, приобрести прочность, устойчивость направления. Но без твердости нет формы.

2.

Если бы было иначе, если бы мы, при всех противоположностях в интимном, обладали все же целостным духом, если бы мы умели творить форму, достигать формы через своеобразие и твердость субстанции,—то мы переживали бы величественное мгновение самосозидания.

Возникло бы творение свободы, достойное немецких духовных сил, немецкой воли к самоуглублению—зримое тело народного духа, как завершение прошлого, как сосуд, в котором отливалось бы будущее: самосозданное, творческое немецкое государственное устройство. Так возникла Англия, Америка, Франция, по образцу которых созданы и переделаны великие государства мира.

Если нам суждено и предопределено хотя бы с запозданием, как последнему из европейских народов, вновь воплотиться,—то наш образ должен определяться не духом прежних веков и чуждых народов, а существом германского духа и предвидящим созерцанием новой германской эпохи, которая вместе с тем должна быть новой мировой эпохой.

Пятидесятилетняя мировая держава второй германской империи отошла в прошлое и никогда более не вернется. То, что выдавало себя за существо германского духа, что—согласно безответственной болтовне за пивным столом его представителей—должно было спасти мир: царство приказчиков и ассессоров, филистерское, злобное бахвальство силой юнкеров, фабрикантов, гимназических учителей и канцеляристов—это антигерманское уродство пожрало само себя, но вместе с тем отдало владычество над миром англосаксам, которые еще некоторое время—пока мировое владычество вообще воз-

можно—будут осуществлять его, руководясь простыми правилами, без грубо-намеренных несправедливостей, с политическим разумением, без вдумчивой человечности.

Народу же предстоит воплотить истинную германскую сущность, которая неприкосновенна и независима от мощи и внешнего влияния—ту сущность, которая опирается на об'ективность и личный гений, на многообразие и единство, на умозрение и действительность, на логику и чувство; и воплотить ее прежде всего в государственном строении.

Должно было бы возникнуть государственное устройство, германский характер которого был бы виден уже издалека,—устройство, которое не приспособляется льстиво к данному, а заполняет его новым смыслом; устройство, которое хотя и не просто—оно не может быть таковым, ибо мы сами не просты,—но и не основано на компромиссе, а дает возможность каждому члену, как живому органу, выполнять свое особое назначение; устройство, которое столь же понятно для всех, столь же самоочевидно выражало бы дух страны в Штутгарте, как и в Кенинсберге, и которое прежде всего было бы родиной новой эпохи—эпохи равенства всех состояний и слоев.

Совершенно справедливо то, что говорят революционеры: немецкая революция не завершилась, она даже еще не началась. Но завершится она не с сегодняшнего дня на завтрашний; завершится она не большевиками и спартаковцами, а рядом народных творений, из которых первым должно быть социальное и демократическое устройство,—устройство, которого ни существует ни в монархических, ни в плутократических странах, ни в странах мелкой городской буржуазии, ни в земледельческих буржуазных странах. Это должно быть устройство германского будущего.

Все равно, какую бы пьесу мы ни разучивали на возобновленной сцене Гете—клятву ли союзников, польский рейхстаг или ярмарку в Плундерсвейлере—в этом обезбоженном пространстве, под давлением Спа и Трира, в кругу самодовольных якобинцев и революционных генералов не родится германское государство. Что бы тут ни возникло—будет ли то немецкая рекламная деревня на чикагской выставке, или династическая казарма Бисмарка—все это, говоря еще раз языком „великого времени"—будет лишь суррогатом и паллиатативом.

Тем лучше, у нас есть время. Что творится, растет из глубины.

Сомнение помогает раскапывать глубины. Мы хотим подвергать сомнению существующие понятия—прежде всего понятия государства, мы хотим говорить о том, что буржуа называет утопией и что реальнее всего на свете – о разумном. Тогда мы создадим простор для оснований, из которых позднее—но никогда не слишком поздно—вырастет будущее строение.

3.

Политическое государство в его высшей форме империалистического государства имело в войне свою великую, свою последнюю эпоху.

Для нас империализм окончен, у других народов он уже переходит свой апогей. Лига наций отнимет у государств часть их военного суверенитета, социальный переворот мира доделает остальное. Суверенитет станет в течение этого века коллективным понятием.

Тогда будет закончено тысячелетнее движение. Чисто политическое понятие государства потеряло свое единственное в своем роде, никем не оспоримое верховенство в построении наций. Открывается простор для новых форм.

И отдельный человек был сначала творением чистой самозащиты лишь потом он стал носителем хозяйственной деятельности, и наконец—творцом нравственного совершенствования и культуры. Теперь разве только в самые бурные минуты человек думает о самозащите, ие посвящает себя внутреннему и внешнему формированию своей жизни.

Государство так давно, столь много тысячелетий тому назад начало овладевать всей волевою жизнью наций, что мы—все равно, было ли его творящей силой родство, общение, религия или защита—можем представлять его только, как универсальную форму жизни, и почти не ощущаем того парадокса, что все его области подчинены политике.

Нас должно было приводить в изумление неизмеримое многообразие административных организаций, товариществ, союзов, корпораций и обществ, сеть которых с каждым днем уплотняется новыми нитями, так что никто из нас не может ужс сказать, сколько таких общественных нитей связываются в нем. Иные из этих связей, которые пронизывают гражданскую, местную, профессиональную, хозяйственную, личную, духовную и религиозную жизнь, ведут назад к центру политического государства, многие из них образуют отре-

шенную от государства ткань, определяемую изменчивыми обособлениями и об'единениями.

В эпохи слабой и раздробленной государственной власти может случаться, что центральные функции—судопроизводство, местное управление, охрана безопасности, транспорт—отщепляются и переходят в руки частных союзов. Напротив, в органическом государственном строительстве должны умножаться связи, которые излучаются государственным организмом и стремятся централизовать эти государства в государстве.

В средоточии политического государства сходятся все нервные нити. Это средоточие—все равно, монархическое ли оно, или республиканское, демократическое или плутократическое или феодальное—все еще есть неизменное место, удержавшееся из эпохи политической политики, из эпохи преобладания войны, самозащиты и внешнего могущества.

Не то, чтобы я думал, что в будущем эти чисто политические дела совсем прекратятся. Они сохранятся наряду с другими, и мы пережили еще не последнюю войну. Но они потеряют свое преобладание; более того, они уже потеряли его.

И старые государства осуществляли администрацию, суд, хозяйственную, религиозную и культурную политику, и было бы несправедливо сказать, что они делали все это только, как что-то второстепенное. И все же все это делалось как бы перед лицом чего-то высшего—внешнего величия и могущества наций,—в особенности в монархических государствах; государство осуществляло себя, как самоцель.

Но в то время, как оно мнило это делать, оно должно было с досадным изумлением ощущать, что его державнейшее действие—внешняя политика—все более и более становилось, а под конец и совсем стало на службу неполитической функции хозяйства; управление, воспитание и религия, которые государство—умышленно или безсознательно—взяло на себя ради своего могущества, стали незаметно средствами борьбы—в реакционных государствах—против народа, в революционных государствах—против класса господ.

В то время, как империализм господствующих достиг вершины, государство давно уже стало местом согласования интересов, механизмом упорядочения и устроения с несовершенным самоуправлением; и так как оно не хотело осознать этого своего изменения,

то оно, опираясь на свои господствующие классы, гнало вперед свой империализм.

Централистические же формы мысли сохранились и стали бессмыслицей.

Центральная мудрость—в монархии династическая, с нравственно смягченными интересами династии, в республиках—партийно-политическая, изменчивой окраски, направляла вовне борьбу государств, а внутри—строительство и согласование сил. Монархия сама заботилась о своем оправдании; в отношении парламентской власти молчаливо предполагалось, что она есть чистое самоуправление, господство суверенного народа над самим собой.

Несомненно, она и была таковым, по сравнению с монархией. Она была таковым, до известной степени, даже и вне этого сравнения, именно пока „великие“ вопросы—вопросы формы правления, внешней, политической политики представлялись центральными вопросами, за которыми, на большом отдалении, следовали, подчиняясь им, „более мелкие“ вопросы хозяйства, общества, культуры. Она приближалась к идеалу чистого самоуправления в странах с однородными группами и интересами, как в Англии и Америке, где комплексы интересов и идеалов сгустились в осязательные единства, с мало ощущаемой дифференциацией по местностям.

Война и ее продолжение—мир, на первый взгляд, возвели на высшую высоту великие вопросы политической политики; в действительности они их уничтожили. Даже империалистически насыщенные государства, занятые собственным исцелением и возстановлением, будут отныне иметь дело лишь с одной основной проблемой—с проблемой классов и слоев. Внешняя и политическая политика даст еще несколько театральных представлений и затем уйдет со сцены, и ее место займет международная хозяйственная и социальная политика.

Но эти с виду наиматериальнейшие из всех вопросов будут решаться идеальными ценностями—духом и нравственностью. Ибо если даже в тяжкое переходное время решающее значение будут иметь монополия сырых материалов и требования положения, то в конечном счете каждая нация будет получать столько, сколько она дает. Возможность же давать определяется силой духовных ценностей.

Но здесь уже явно выступает наружу фикция мудрости центральной власти и парламентского самоуправления.

Фикция утверждает: и после того, как великие вопросы политической политики уже не властвуют над судьбой народов, одно единственное, посредственное по составу—мы увидим дальше, почему необходимо посредственное—собрание должно во всех областях национальной жизни знать, понимать, оценивать и разрешать все принципиально важное. Оно должно, прежде всего из своего собственного состава, поставлять специалистов, которые воплощали бы принципы в практику, и возбуждали бы новые принципиальные вопросы. И оно должно в свою очередь знать, оценивать и контролировать все эти лица.

Оно не только должно, оно убеждено, что может это делать.

Ибо это посредственное собрание мнит быть не только отбором, но и отображением народа. Оно есть народ, который сам собою управляет.

Оно избрано по комплексам идей. Приблизительно следующего рода: мелкая торговля — милиция — внецерковная школа — старое искусство—колониальная политика—демократия. Или: монархия—церковность — крупное землевладение — антисемитизм — протекционизм. Или: партикуляризм—католическая церковь—поощрение мелкого земледельца—среднее сословие—разоружение. Предполагается, что подобные комплексы идей приходятся по мерке большинству граждан, или могут быть с помощью внушения к ним приспособлены; и это предположение приобретает некоторое правдоподобие в силу того, что высокополитические составные части этих комплексов идей, в роде демократнии—самодержавия—социализма—католицизма, молчаливо принимаются за доминанты, за руководящие понятия, и что пытаются из них и из средних интересов больших слоев населения, которые считаются восприимчивыми к таким руководящим понятиям, вывести все остальные идейные составные части и соединить их в партийные программы.

Таково содержание фикции, которая лежит в основе всякого парламентского единодержавия и самоуправления. Фикция тем более приближается к действительности, чем однороднее нация, и чем более механически составлены ее группы; высшего приближения к истине она достигает в англосаксонских государствах. Она удаляется от истины и приближается к бессмыслице, чем более народ раздроблен по географическим условиям своей жизни, по своему духу и интересам, чем меньше в нем сила национальной спаянности.

4.

По учению наших профессоров, которые знают все, чему они учились—именно все, что связано с историзмом—и которые ни на мгновение не сомневаются в том, что с помощью этого векового умственного рецепта прилежания и основательности можно понять все прошлое и сотворить все будущее—согласно этой удобной жреческой мудрости мы знаем, что мы—наиболее индивидуалистический из всех народов, и мы раз навсегда успокаиваемся не этой похвальной слабости.

Ведь мы—народ Гете, Фихте, Бетховена, и этим об'ясняется все.

Прежде всего этим ничего не об'ясняется, а затем—еще вопрос, верно ли это.

Этим не об'ясняется тот факт, что за последние сто лет у нас не возникало больше творческих мыслей. Этим нельзя об'яснить и того, что ни в какой области жизни мы не создали самостоятельной великой формы.

В духовном бытии и формах жизни мы совершенно так же механизованы, как все остальные народы. И даже механизации мы не создали, а только изучили ее с нашей великой основательностью и довели до последнего предела. В литературе мы в течение последних поколений по очереди зависели от Франции, России и Скандинавии. В живописи—от Франции, Японии и Испании. В философии и науке мы были интернациональны.

Наш народ молод. Он видоизменяется в великих потрясениях, которые переворачивают все вверх дном; он состоит из старых об'единенных внеисторических подземных слоев. Мы—не в большей и не в меньшей степени народ Гете и Дюрера, чем итальянцы—народ Данте и Леонардо. Вглядитесь только в нашу эпоху, в нашу архитектуру, наши формы жизни, в портреты наших вождей.

Не нужно вдаваться в обман узкого кругозора немногих образованных людей, которые, в изысканном общении, окруженные старыми книгами и уютным ландшафтом, предаются миражу старой романтической Германии; не нужно поддаваться обману эстетики чувствительных отшельников и поклонников природы, отвергающих и умеющих отрезонировать капиталистический пот, за счет которого они живут. Новая Германия есть неведомая страна—неведомая больше всего тем, кто исторически философствует о ней.

То, чем мы теперь отличаемся от других народов—это меньше

качества духа, чем качества характера. Мы мягче, менее самоутверждены, более безформенны и гибки. Мы оставляем нерешенным вопрос, в какой мере качества деловитости, дисциплины, любви к порядку и точности были делом принуждения сверху или делом нашего собственного существа. Честность, об'ективность, основательность еще налицо в умирающем бюргерстве. Быть может, в нем сохранилось еще кое-что от старой способности производить таланты. Доброта, теплота, готовность к помощи суть лучшие качества средних и низших слоев.

Итак, в нас все еще преобладают силы „душевности" (des Gemüts). Поведут ли они к славянской разслабленности—недостаток национальной гордости иногда заставляет опасаться этого—или они оплодотворят силы духа для трансцендентального расцвета,—покажет будущее. Но в области национальной и политической преобладают слабые, которые олицетворяют не индивидуализм в высшем смысле, не самосознательное творческое своеобразие, а бесформенность, прикованность к привычному, не имеющему существенного значения, и вялость.

Наш национальный недостаток лежит в неблагожелательности, которую удается смягчить только посредственности. Она проистекает из скромности и внутренней косности. „Я—ничто, и успокоился на этом, следовательно и ты—ничто, и должен этим удовлетвориться". Необычное бытие, мышление и действование разрешается лишь тому, кто в силу рождения или положения избавлен от оценки, или кто, „пробившись",—как много говорит это слово!—ускользнул от преследования.

Напротив, ловкая посредственность не шокирует. Кто говорит то, что думают или хотят слышать другие, кто делает то, что другие считают правильным или одобряют,—тот нравится или достигает популярности. Соответствующее безотрадное немецкое слово „beliebt" нельзя перевести ни на один из западных языков. Оно означает не любовь, не симпатию, не почитание, даже не уважение, высокую оценку или популярность; оно означает частью самодовольно-благодушное приятие, частью преодоленную недоброжелательность.

В Германии человека определяют не достоинства, а „возражения". Человек должен „не встречать возражений", и дело должно быть „безупречным". Но не встречает возражений только чистое, круглое, безупречное ничтожество.

Бисмарк не был ни любим, ни свободен от возражений. В течение всей своей жизни он был более, чем непопулярен. Он не явился бы, он десять раз ушел бы, если бы абсолютный монарх не нашел и не удержал его против воли всех буржуазных и дворянских группировок. Ллойд-Джордж, Клемансо и Вильсон заслужили у своих народов не благосклонность, а восхищение; отчасти их просто боятся. Если до сих пор мы находились под гнетом наших господ, то теперь мы находимся под гнетом „Beliebtheit". Вот почему, чем больше мы будем выбирать, тем посредственнее будут наши представительные собрания.

Не случайно, что за последние годы чужие, благожелательные нам страны игнорируют все, что у нас популярно, и интересуются тем, что—по большей части с запозданием—пробивается у нас в борьбе. И более умные из наших прежних господ говорят откровенно: мы должны были властвовать над вами, потому что ваши хорошие качества развиваются только под давлением начальства. Если бы было иначе—то вы не терпели бы так долго нашего господства.

Нам нужно многому учиться. Но у нас есть время, и нужда— хороший учитель. Мы должны начать с отклонения дешевых и самодовольных об'яснений. К числу их принадлежит и „признанное" положение об индивидуализме, которым все оправдывается.

5.

От индивидуализма отдельного лица надо отличать индивидуализм местностей и племен; этот индивидуализм надо признать крупной политической реальностью, богатым и прекрасным, хотя и опасным наследием прошлого.

Германия есть мир в малом, в слишком малом, но все же целый мир.

Англия, Франция и Италия суть тоже страны двух морей, страны Альп, холмов и равнин, рощ, лугов, полей и лесов, страны крупных городов, гаваней, сельских городов и деревень, соборов, университетов, замков, универсальных магазинов и фабрик. В этих странах тоже господствует двоякая вера и многообразные нравы,—северянин не понимает южанина. Шотландец и уэльсец, нормандец и провансалец, ломбардец и апулиец не более родственны между собою по племени и крови, чем пруссак и баварец. Эдинбург и Ливерпуль, Булонь и Марсель, Венеция и Неаполь не менее отличны друг от друга, чем Любек и Бремен.

Но над Германией лежат чары. Не только для наших взоров, и иностранцы ощущают их, и они растут по направлению к Австрии, превращаясь в заклятие.

Нас делает миром в малом не физическая сторона жизни, не многообразие климата, почвы и крови, а духовное начало: материализованное прошлое. Это—достоинства наших недостатков.

Хозяйственно и социально мы—преувеличенная современность; в бытовом отношении мы более средневековы, чем другие народы.

Не личный индивидуализм, а самоудовлетворенность, политическая косность, вялость, недостаток интереса к форме, недостаток солидарности и чувства независимости, и даже открытое подчинение властителям и династиям сохранили до нашего времени средневековое раздробление страны. Войны и вымирание вытекали из этого состояния и, в свою очередь, усиливали его. Перевороты были невозможны в этой атомизированной массе, они замирали в зародыше.

Пруссия, которая по праву носила имя и корону внегерманских частей страны, приписала себе призвание собрать Германию в государство. Политически она не превзошла метода просвещенного военного деспотизма, географически не вышла за пределы Майна. Конституция 1871 года есть памятник могучей, но половинчатой работы. Монархическая Пруссия, несмотря на свою роль вождя и на изумительную цельность, духовно и политически осталась внегерманским продуктом, созданным для внешнего, а не для внутреннего завоевания, и Германия осталась хозяйственно-военным союзом династически разделенных местностей.

Пруссия не достигла политического единения и задержала единение культурное. До последнего дня своего династического блеска она проявляла черты своего истинного основателя Фридриха Вильгельма I: ограниченную деловитость. Наследие неслыханной объективности и пунктуальности, которое она принесла миру, в течение более ста лет оставалась неустаревшим и неподражаемым; это было первое вполне механизованное государство, механизованное не в капиталистическом, а в военно-бюрократическом смысле; оно заслужило свой успех и наслаждалось им в течение двух поколений. Этот успех должен был все оправдывать: несвободу подчиненных классов, сухое военное благочестивое настроение, грубость в обращении, находчивую мужицкую хитрость международных отношений, озлобленную нетерпимость против всего своеобразного, а потому це-

понятного. Прусский же подданный исказил недостатки своего государства и превратил их в грубую наглость, в самомнение, в зложелательное самопровознесение, в командующее властолюбие и холодное бахвальство. Германия содрогалась от мысли, что нужно быть столь отвратительным, чтобы иметь успех. Заграницей сжимали кулаки.

Теперь хотят разбить Пруссию. Если это случится—это будет и несправедливостью, и бедствием. Ибо если недостатки прусского окостенения были невыносимы, то ее подлинные достоинства ценны для Европы и необходимы для Германии. Об этом—позднее. Здесь достаточно сказать, что Пруссия оказалась несостоятельной, и что Германия под твердой корой пруссианизма оказалась мягким, неспаянным ядром.

Ценность средневековой децентрализации лежит не в области прагматической, а в области культурной. Можно что угодно говорить против французского централизма, но политическому государству он во всяком случае придает могущественную силу удара и размаха, немецкое же раздробление придает расселению, историческим городам и селам, достоинство и духовную независимость, которые чужды западу.

Город стремится к культуре и к развитию в соперничестве. Еще доселе немецкая культура превосходит меру более крупных наций, и если творческая сила и отстает теперь, то мы имеем право надеяться, что смешение уставших высших слоев с элементами еще неоткрытых низших слоев вольет новые силы. Где это не случится, там мы имеем еще большее основание держаться старой культуры и духовной независимости.

В Германии никогда не существовало понятия провинции, за исключением жалких фабричных местностей, и если это слово употребляется в смысле, противоположном крупному городу, то только на жаргоне торговли и сцены.

Немецкая деревня, устойчиво держась естественно данного, сохраняя старые обычаи и нравы, есть наше лучшее достояние и в будущем будет нашей силой. Если бы нашему востоку была дана в удел немецкая свободно-крестьянская деревня, то отвлеченное пруссачество преобразилось бы в живое германство.

Область—не государство и не провинция—сохраняет свое историческое достояние, свою духовную самодеятельность, свое культурное лицо, и сохраняется внутри германского мира, как мир в малом.

Однако, ни в коем случае это прекрасное право традиционного духовного самоуправления не должно быть смешиваемо с творческим индивидуализмом, с непреодолимым политическим своеобразием. Творчески индивидуальна Германия в целом, или она должна стать таковой; и в пределах ее естественного своеобразия всегда останется простор для политической и культурной децентрализации. При всей любви к местной традиции и заботе о ней мы не можем, не впадая в безмерное преувеличение, говорить о новой саксонской, новой баварской или баденской культуре. Сколь разнообразны видимые и ощущаемые памятники старого времени, столь же однородны формы жизни и творчества нового времени. Сохранить сотворенное есть наша обязанность, дать возможность становящемуся произрастать самостоятельно—есть наше право; но из партикуляристического упрямства задерживать заросшую сорной травой страну в произвольной раздробленности — есть недостаток национального чувства, творческой национальной силы.

6.

Новая германская конституция, продукт компромисса, при котором ловкость есть единственное средство борьбы, отказывается от постановки германской проблемы. Она отказывается вообще от постановки всякого вопроса, который затрагивает внутреннее существо государственной идеи, и спасается из конфликта между централизацией и децентрализацией, единством и множеством, посредством сочетания изжитого с гибельным; связующим звеном служит логическое противоречие.

Старое существо союзного государства остается в силе. В качестве новинки, на отдельные государства наклеивается отвратительное название государств-членов.

На заднем фоне стоит злосчастное разрушение Пруссии.

Обе мысли противоречат друг другу.

Старый „вечный союз монархов" мог влачить свою 48-летнюю вечность, пока его охранял страх и не возникало никаких затруднений. Он не мог вести ни внешней, ни хозяйственной, ни финансовой политики. Перед каждой монополией он оказывался несостоятельным, снабжение во время войны стало катастрофой. Это было государственным устройством для хорошей погоды.

Кто когда либо наблюдал злосчастное бессилие в отношении между имперской властью и союзными государствами, союзными го-

сударствами и Пруссией, между отдельными прусскими ведомствами и имперскими ведомствами, между отдельными имперскими ведомствами и канцлером, тот знал: здесь можно было работать только со дня на день, здесь стиралась всякая великая задача. Печальный комизм этого положения и изобразил в статье „Вопросы времени" („Zeitliches").

Пруссия, некогда обожествляемая, теперь ненавидимая, разрушается, согласно принципу: Quidguid delirant reges, plectuntur Achivi. Забыта организаторская сила, которую Пруссия доставила империи, забыта не германская сила и ясность воли, способность заканчивать и приводить в исполнение, неслыханная хозяйственная сила и самопожирающая деловитость. Сравните Священную Римскую Империю и Германскую Империю. Что остается? Пруссия. Сравните Австрию и Германию. Что остается? Пруссия. Отнимите Пруссию от Германии. Что остается? Рейнский союз, удлиненная Австрия, клерикальная республика.

Правда, декламациями дурной совести, феодально-милитаристической совести, истреблены и обесценены добродетели Пруссии. Мы с ужасом слышим постоянно о категорическом императиве, когда разумеется бюрократия, о старо-прусской простоте, когда защищаются права юнкеров, о деловой монархии, когда нужно задушить свободу и изолировать чернь. И все-таки остается верным: политический коллективизм, национальное общение—которое не должно быть смешиваемо с простой любовью к родине, племенным единством или общностью местных интересов—в Германии нигде и никогда не возникало иначе, как в Пруссии и через Пруссию. Именно потому, что Пруссия в такой же мере есть не германская, как и германская страна.

Допустим, что прусская гегемония должна быть уничтожена. Тогда Пруссия должна быть разделена, тогда пусть Пруссия растворится в Германии, и Германия в Пруссии. Тогда невозможно никакое союзное государство, тогда необходимо единое государство—или разложение.

Допустим, что принцип союзного государства остается в силе. Тогда необходимо сохранение Пруссии, как действенной силы, и неизбежна ее гегемония.

Третья возможность: союзное государство и разрушение Пруссии, есть бессмыслица. В таком случае Германия состоит из множества беззащитных, хозяйственно-эгоистических, политически интригующих

мелких правительств, и распад на северные и южные государства есть вопрос времени.

Эти соображения не годятся для текущих представлений Веймарского театра затруднительного положения. Если бы нужно было привести доказательство политической несостоятельности буржуазии, то этот театр дает его. Филистеры в партере, филистеры на сцене; вместо Гете—Коцебу. Ни одно слово, ни одна мысль не проникла с этих подмостков в народ, словесная мельница медленно вращается и размалывает революцию, от которой не остается ничего, кроме нескольких сытых членов конкурсного управления.

И все-таки есть еще Германия, спящая Германия, которая некогда в тиши проснется, и ради которой стоит творить и мыслить.

7.

Чтобы уловить более глубокий смысл немецкой воли к единству и воплотить ее в новом государстве, нужно понять государственную идею с новой стороны.

Наша внутренняя воля говорит: я не хочу—называйте это традицией, привычкой, любовью к родине, инертностью—я не хочу лишиться духовного своеобразия, особенностей местного быта и ценностей, тона, языка, обычаев моей узкой родины.

Но я хочу быть членом большого государства, хочу соучаствовать в великой судьбе всех моих германских братьев; я хочу единой, здоровой, сильной и цветущей нации, с самостоятельным независимым творчеством и историей и с справедливым участием в судьбах мира.

Я научился быть немцем и чувствовать по-немецки; я готов жертвовать более узким кругом, чтобы служить более широкому.

Хорошо. Чем ты хочешь жертвовать?

Здесь ответ должен гласить: я жертвую политическим самоволием, обособленными хозяйственными выгодами моей более узкой родины.

Если ответ гласит иначе, то мы еще не созрели для национального единства. Тогда каждая государственная форма становится искусственным компромиссом; возникает неорганическая государственная машина, какою были все прежние конституции и даже последняя,—машина, которая может быть использована только в руках неприкрытой гегемонии и при хорошей погоде. Тогда уже лучше разделим наши долги, заключим военную конвенцию, таможенный союз и торговое соглашение, и предоставим каждого своему прези-

денту или великому герцогу, ибо политика, которая ведется многими сообща, не есть политика; дело, которым руководят по частным интересам — не есть дело; государственный союз внутреннего соперничества—не есть государство.

Но если мы готовы принести истинную жертву самоволия, то мы должны спросить новую идею государства, можно ли овладеть ею.

Современное государство давно уже не есть только государство. Из волевого общения нации, из политического, военного, религиозного и правового единства оно развилось в единство культуры, образования, торгового общения, а отсюда и в единство хозяйственное. На вершинах управления министерство примыкает к министерству; беспомощная фикция требует, чтобы все эти отдельные машины в совершенстве вели каждая свою внутреннюю работу, чтобы они согласовались между собою через посредство министра—президента или монарха, и чтобы всеведущий парламент обозревал, сохранял, формировал и направлял их всех.

Парламент, который есть отчасти представительство интересов, отчасти собрание политиков, отчасти религиозное представительство и который преимущественно состоит из излюбленных посредственностей, может делать троякое: он может выделять силы администрации, он может давать общее политическое направление, которое приблизительно соответствует народной воле, и он может формально контролировать государственную машину. Он не может того, что в первую очередь от него требуют—творить органическое законодательство; и он не может делать того, чего он и не должен делать—управлять.

В раздробленной палате законодательство есть дело случая. Мнимым образом министр, который не имеет ни времени, ни понимания для этого, в действительности же министерский чиновник вырабатывает закон, привлекая заинтересованных лиц и учитывая психологию парламента. Министр усваивает себе обоснование закона и докладывает его. Палата понимает или не понимает дело, воспринимает его с политической и агитационной точки зрения, случайно присутствующие специалисты и представители интересов вмешиваются с успехом или без успеха в обсуждение дела, закон без внимания к его духу и действию изменяется, и в заключение по политическим мотивам принимается или отвергается. Сохраняется только фикция демократии, в фикцию существа дела никто не верит.

И мы должны вернуться к государству, голова которого имеет такой вид!

Уже теперь есть множество потенциальных государств, множество косых конусов на общей основе, вершины которого теряются в парламентских облаках. Строго говоря, на ряду с политическим и юридическим государством существует военное государство, церковное государство, административное государство, государство народного образования, торгово-хозяйственное государство.

Все эти государства уже теперь самостоятельны, хотя они в отдельных важнейших решениях подчинены высшему, политическому государству. Все они почти независимы, но все без исключения искалечены.

Ибо им недостает утвержденности в народной почве, хотя некоторые из них, в особенности церковное и административное государство, как бы тонкими воздушными корнями опираются на органы местного самоуправления.

Ко всем им народная кровь притекает исключительно через посредство общего и совершенно недостаточного кровеносного аппарата—политического парламента. Там большинство, основанное на интересах, нормирует или уродует решающий культурный вопрос, идейное большинство решает хозяйственный вопрос, политическое большинство—религиозный вопрос. Приходишь просто в ужас, когда видишь, как в конце слишком долгого обсуждения усталая палата в пять минут принимает тягчайшее решение, потому ли, что никто его не понял, или потому, что две партии заключили механическое соглашение, или потому, что сенсационная речь произвела впечатление, или потому, что так нужно для демагогии на выборах, или же потому, что надо кончить дело.

Лучшее и самое объективное, что притекает к этим тупым и принципиальным обсуждениям, исходит от дельных и серьезных бюрократов, которые совершили предварительную работу; а такой бюрократ, в свою очередь, получил это от специалистов и заинтересованных лиц, которых он насколько возможно выжал и которых он искусно использовал друг против друга, так как им часто нельзя доверять.

Если сравнить с этим, как объективно и с каким пониманием дела работает каждое хотя бы и ограниченное, но хоть наполовину компетентное самоуправление, как ему присуща скромная мера изобретательности, и даже редчайший дар—немножко здравого чело-

веческого смысла,—то приходишь в отчаяние от машинного товара универсальных законодательных фабрик для массового потребления.

(Это относится ко всем парламентам, но больше всего—к немецким. Мы, народ поэтов и мыслителей, в дополнение еще филистеры. Мы не замечали этого, пока мы находились под игом наших суровых, отнюдь не филистерских господ; тогда мы были организованы и дисциплинированы, бодры, энергичны и приучены к порядку. В чаду свободы, который делает других пламенными и эластичными, мы становимся вялыми и расхлябанными, и наши господа глумятся: „вот видите, вы всегда были такими. Вернитесь к рабству, оно вам нужно и полезно!“)

Парламентаризм всегда был организацией мало удовлетворительной; за исключением только стран с такой политической зрелостью, что для них уже не существенна форма правления. У нас он устарел раньше, чем начался, и при том в двояком смысле. У нас нет универсальных умов, которые обозревали бы большое и малое, общее и частное; и мы не можем справиться с раздором между идеями и интересами. Темное чувство этой неудовлетворительности таится в массах. Они хотят не республики, они хотят двух республик— республики парламента и республики советов. Как—это им безразлично. Легко смеяться над этим. Массы не законодатели, но внутренне они правы, когда не доверяют филистерской республике, филистерскому парламенту и филистерскому правительству.

Республику можно преодолеть только через республики, парламент—через парламенты, местный партикуляризм—через партикуляризм идеальный.

Значит ли это, что мы изгоняем чорта Вельзевулом, злой дух— легионом злых духов?

Об этом—дальше; пока же я утверждаю: необходимо отделить друг от друга, вложенные друг в друга или сложенные в одну кучу идеальные государства, построить их на объективных основаниях и сделать самостоятельными, конечно, подчинив их политической вершине.

Этим мы создаем новое государство, государство будущего; этим мы создаем подлинную демократию и, вместе с тем, народный трибунат для масс; этим мы создаем объективное, справедливое и дальнозоркое законодательство, управление и политику; этим мы создаем равновесие между партикуляризмом и централизмом.

8.

Мы предвидим два возражения: вопрос о демократии и вопрос о множественности парламентов.

Мы привыкли, что всякий, кто восхваляет нам сословные порядки, или представительства профессий, или что-либо вообще, что не основано на чистом большинстве голосов, хочет обмануть нашу демократическую совесть. Так это и бывало; в лучшем случае получалась „немецкая свобода", профессорская свобода, и не успеешь оглянуться, как на верхушке этого просвещенного гражданского творения снова сидели король и церковь, дворянство, денежные тузы и военные.

Теперь пробуждается что-то иное. С Востока идет на нас темный порыв, плохо обоснованный, противоречивый и все-таки глубоко чувствуемый: ради свободы выступить против демократии. Чистая бессмыслица, не правда? Может быть это все-таки не так.

Допустим, что англичане проведут в немецкой восточной Африке народное голосование, разумеется, со включением женщин. Кто будет избран, и что будет решено?

Как раз то, чего хочет правительство и чего хотят белые и при том без малейшего следа насилия или подкупа. Ибо туземец не понимает последних результатов своего голосования, он не привык мыслить отвлеченно и через умозаключения, он выбирает наличное, предстоящее ему. Совсем иначе обстоит дело, когда его спрашивают о привычном, когда он доджен указать носильщика или послать нарочного к берегу.

Поэтому русские говорят: прежде, чем вводить демократию, мы должны просветить народ.

Поэтому в наших демократических национальных выборах миллионы избирателей, в особенности сельских, голосовали явно против своих интересов.

Поэтому великие создатели римского государственного устройства включили в деревенски-аристократическое государство институт народных трибунов.

Поэтому у нас и в остальной Европе отныне уже не прекратятся требования уравновесить буржуазную демократию системой советов.

Поэтому примитивная форма однопарламентского государственного устройства, которая годилась в западных буржуазных респуб-

ликах в эпоху либерального купечества и консервативного предпринимательства, не создана для эпохи эмансипации масс.

Система ведомственных государств дает простор всяческой демократической и сверх-демократической свободе. Хозяйственнное государство может опираться на советы, государство культуры может строиться на парламентах специалистов, государство образования—на парламентах из специалистов и граждан. Общее государство, в качестве высшей, решающей и направляющей инстанции должно, конечно, воплощать принцип абсолютной теоретической демократии, ибо общее направление политики затрагивает и обязывает равномерно каждого гражданина и потому должно и равномерно управомочить его.

Кто вжился в старое буржуазное государственное устройство, кто, сверх того, испытывает справедливую антипатию к парламенскому хозяйничанию посредственностей, тот ощутит ужас перед множественностью представительств. Разве теперь еще недостаточно болтают и торгуются, избирают и голосуют? Неужели отныне никогда уже больше нельзя будет работать и творить тихо и спокойно, самостоятельно и с внутренним удовлетворением?

К сожалению, нет. Этого уже не будет. Как мы не можем уже вернуться пространственно к отшельничеству, или в промышленном отношении—к старому домашнему хозяйству, так мы никогда уже не вернемся к социальному для себя-бытию. Половина нашей действенной жизни будет посвящена творчеству, другая половина—в свободных профессиях несколько меньше— будет тратиться на общественную ориентацию.

Ибо для себя—бытие покоилось на привилегиях. Чем решительнее меньшая часть людей (как отдельные личности и как класс) притязала на самодовление и добивалась его, тем с большим принуждением большая часть людей должна была существовать для других, именно для первых, и быть лишена для—себя—бытия. Если теперь нужно построить новое, еще небывалое в Европе, общество, именно вместо двуслойного однослойное, если должно отпасть всякое унаследованное, исторически созданное, традиционное принуждение, то всякий данный состав обязательств и отношений должен быть предметом неустанно возобновляемых соглашений; вместо статического равновесия мы будем иметь динамическое. В силу этого соглашения и переустройства будут бесконечны, и это неустанное движение будет иметь внешний облик парламентирования во всяких формах.

Мы должны пойти на это, быть может, наиболее безотрадное и культурно наиболее опасное, потому что угрожающее одиночеству,— побочное действие новой формы жизни. Более того, мы уже пошли на него, мы только еще не понимаем, что оно неотменимо и длительно. Мы воображаем, когда мы видим бесконечную агитацию, бесконечные собрания, обсуждения и заключения, что это есть последствие переходного состояния, и что люди когда-нибудь успокоятся.

Если мы примиримся с необходимостью этого явления—а новое поколение уже не будет знать, что люди когда-либо жили иначе— то мы предпочтем организованное построение и упорядоченную практику обсуждения случайным и преходящим его формам. То, что сейчас делается в дикой и неупорядоченной форме на заседаниях союзов, совещаниях комиссий, обсуждениях специалистов, съездах советов и народных собраниях, будет по крайней мере отчасти направлено в организованные формы и потому потеряет страстность и произвольность и приобретет упорядоченность и последовательность.

Есть что-то грандиозное в том, чтобы укротить и оплодотворить страстный преизбыток человеческой воли через посредство чувства ответственности. Мы обманываемся, если думаем, что внезапно пробужденные интеллектуальные и волевые силы миллонов могут быть успокоены, если мы им дадим в руки несколько избирательных записок и скажем, что самодовольный и незначительный буржуазный парламент суверенно правит от их имени и заботится об их благе. Лишь живое снизу до верху государсвенное устройство, подвижное и постоянно возобновляющееся, может воспринять в себя и использовать напирающие снизу силы, пропитать и усилить бюрократию и через посредство самоуправляющихся нисших инстанций уравнивать труды, тяготы и заслуги.

Построение нового государства займет десятилетия, но достаточно пронять его, чтобы его хотеть, и достаточно его захотеть, чтобы творить его.

9.

Его существо состоит в том, что старые, застывшие каменные колонны бюрократизма превращаются в живые растущие стволы с органическим круговоротом соков. Динамический закон заступает место статического.

Старое государство умерло от фикции, что одна высочайшая личность с помощью законодательной машины может поддерживать отдельные столбы бюрократии и устанавливать равновесие между ними. В действительности, при совершенной невозможности самого элементарного контроля, были возможны только произвольные и случайные вмешательства, не говоря уже об опасных гипертрофиях, которые вырастали из романических капризов.

Ныне создающееся государство мнит себя удовлетворённым, если оно заменяет личность властителя машиной, которая, кроме законодательства, должна взять на себя руководство политикой и контроля над управлением.

В обоих случаях, в старом и в строющемся государстве случается, вопреки фикции, одно и то же: в действительности, законодательство, руководство политикой и управление обременяет бюрократические ведомства, которые к тому же стеснены многообразной, пожирающей их силы, внутренней и внешней борьбой; настолько стеснены, что остается возможной только самая жалкая политика наименьшего сопротивления и случайного выхода из затруднения.

Прежде всего, борьба велась против раздробленного, несведущего парламента, который воображал и выдавал себя за руководителя, в действительности же, несмотря на почетную видимость, искал руководства и нуждался в нем. То, что тратилось здесь на уступки тщеславию, партийной агитации и случайностям большинства, лишало политику ее лучших сил и делало ее лживой.

То, что применимо к прежнему парламенту, применимо теперь к господствующей партии и группе. Она по недостатку объективного интереса, по потребности в престиже и по преобладанию избирательной тактики — гораздо более поверхностный помощник и опасный враг, чем прежний общий парламент, который почти не сознавал своей коллективной ответственности.

Вторая борьба есть борьба между ведомствами и борьба центральной власти с единичными государствами. Она останется и усилится, если победит партикуляризм; правда, из нее отпадут опасные ссоры придворных лакеев и монархов, но на их место выступят другие интриги.

Третья борьба касается заинтересованных кругов, их союзов и определенного ими общественного мнения. Она стоила наибольших личных и деловых жертв, быть может гораздо больших, чем о том знают сами ее участники; и она не кончится и в социалистическом

государстве, пока сохранится еще остаток частных интересов. К этому присоединяется в нынешнем государственном устройстве четвертая борьба: борьба с организованными массами. Она станет источником непрекращающегося революционного движения, поскольку не удастся включить эти массы в государственное устройство.

В этих различных видах борьбы одновременно и силой и слабостью старой бюрократии был момент инерции, лежащий в традиции. Он был силой, потому что создавал солидарную корпорацию, раны которой тотчас же вновь заживали и о броню которой тупился меч новатора и новичка. Он был слабостью, потому что эта организация двигалась лишь медленно, в случайном направлении наименьшего сопротивления, и не годилась для гонки.

Никогда бюрократия не работала при более тяжких условиях, и лишь ее вековым прусско-германским достоинствам мы обязаны тем, что она, как практическая носительница государственности, оказывалась пригодной во всех отношениях, за исключением момента инициативы.

Если она останется единственной носительницей государственной деятельности — а это случится, как мы видели, в предполагаемой партикуляристической буржуазной республике — если она останется единственной ее носительницей, при чем она не будет пополнена динамикой новых жизненных сил из новых форм государственности, то ее добродетели вымрут, ибо она потеряет свое величие.

Традиционный категорический аскетизм государственного служащего смягчался доселе сословным сознанием и честолюбием. Уже принадлежность к бюрократии была привилегией; чины и звания заменяли доход; высшие места стояли открытыми. Все это теперь отпадает; кого соблазнит мечта в конце своей карьеры, поскольку она не была политической, в тиши канцелярии выполнять работу и доставлять успех для только что пробившегося, скорее ловкого, чем одаренного парламентского министра? Новая буржуазная республика, конечно, очень скоро вновь введет чины и звания; но им будет не доставать блеска исключительности. Они будут оставаться ничтожными, вроде званий в пожарной команде или в окружном союзе; вознаграждение будет умеренное. На место старого чиновничества выступить новое, избранное без предрассудков, вырастающее под покровительством парламента, чиновничество, которое будет не лучше и не чище, чем оно было в прежних аристократических и плутократических республиках.

Мы спасем достоинство бюрократии, если превратим ее безжизненные пирамиды в создания, аналогичные государству, в иерархическую систему органов самоуправления. Мы видим это в организациях местного самоуправления: чиновник, который собирает вокруг себя маленький парламент и руководит им, хотя бы окружное собрание или собрание городских гласных, властвует над своим особым царством; он ощущает область своей деятельности, как целое, и находится в более свободном положении, чем бюрократ, который, будучи втиснут между начальством и подчиненными, выслушивает экспертов и борется с заинтересованными лицами.

К каждой ступени бюрократической лестницы в будущем должна принадлежать соответствующая ступень народного представительства, представительства интересов или идей, составленного, смотря по его роду и характеру, из местных или профессиональных элементов вплоть до вершины идеального ведомственного государства, которым управляет министерство ведомства, опирающееся на парламент ведомства и возглавляемое политическим имперским министром, который получил одобрение политического главного парламента. Ведомственный министр заступит место нынешнего помощника статс-секретаря, и в отношении первого столь же возможно, как и в отношении последнего, что его политическое направление будет определено господствующим большинством.

Популярные требования системы советов содержат не только правильную мысль о необходимости народных трибунатов, но и смутное убеждение, что необходимо дать всему государственному строению приток нового воздуха и света и что бюрократизм должен быть смягчен органическим внедрением в него народных представителей. Однако, система советов означает одностороннюю механизацию, потому, что она не знает иного народного представительства, кроме диктаторского представительства рабочих. Чтобы ни случилось, Германия останется духовно слишком богатой и многообразной, чтобы подчинить все свое творчество такому однотипному, руководимому одним только интересом, надзору; своеобразная воля пролетариата — пока это плодотворное понятие еще сохранится—есть, конечно, тоже инстанция, в хозяйственных делах ныне самая сильная; однако, вопросы веры, воспитания, искусства, внешних отношений не могут быть все разрешаемы классовыми организациями, тем более, местными. Во всех областях жизни для всех должно найтись место, но в области веры будут преобладать верующие, в области воспита-

ния — воспитатели, в области искусства — художники, в области политики — политики.

При этом богатстве форм невозможно в рамках принципиального обсуждения изобразить в деталях строение ведомственных государств. Прежде всего уже потому, что в этом строении должна господствовать почти неограниченная свобода и изменчивость; если только сохранится основной план, то это строение, именно потому, что оно не механическое, а органическое, может навсегда остаться подвижным и пластическим.

Для того, чтобы усвоить себе его отличие от обычной неподвижной системы, достаточно всюду присмотреться к его основанию и вершине.

В своем основании и ныне существующее механическое государство обнаруживает в зачаточной форме проникнутость органическим самоуправляющимся народным элементом. Рудиментарное административное государство, хозяйственное государство, религиозное государство опираются на местные, хотя и чрезвычайно односторонние, примитивные и неразвитые народные представительства; состояние их развития соответствует приблизительно уровню сословных представительств эпохи реставрации: расчленение по местностям, совещательный голос, расширенное право петиций. Совершенно заглохли народные органы хозяйственного государства, над которым, если оставить в стороне насильственное вмешательство, всецело властвуют заинтересованные круги: здесь одиноко прозябают капиталистические торговые камеры.

Если подняться кверху, то органически народный элемент потухает во тьме центральных властей. Что означает торговый съезд для огромной области хозяйственного государства? Что значит железнодорожный консультант для государства транспорта и обмена? Особые мнения и докладные записки льются дождем, пасутся комиссии и комитеты коммерции советников, а заинтересованные лица толпятся у задних дверей. И потом, вдруг сверху свет всеведущего и непогрешимого парламента; гласность, народность, законченная работа. Но этот свет озаряет только верхушки деревьев и не проникает в сумерки чащи государственной жизни.

Бросим взор на вершину: вот перед парламентом появляется министр с притязанием воплощать в себе все духовное содержание своего ведомства. То, что в тишине внушили ему его советники, он переводит на звучный язык народного представительства и пожинает

семейное одобрение своих советчиков, если ему удается изобличить личную слабость оппонента. Старые парламентские государства с учреждениями, которые приобрели гибкость от долгого употребления, могут позволить себе роскошь—держать у кормила своих привычных ведомственных машин чисто политического руководителя, который, без знания дела, управляет ими с помощью одного только здравого смысла; мы, которым нужно еще завоевать нашу будущность, если ее вообще можно завоевать, должны преодолевать личные недостатки, с которыми мы, во всяком случае, должны считаться, жадность заинтересованных лиц и беспомощность масс нашею последней силой, которая, правда, стоит под вопросом и еще не испытана в свободе: нашим органическим творчеством.

В органическом государстве не речистый ведомственный монарх, нанятый на срок, выступает и балансирует ответственность, имея за спиной немую бюрократию, которая с вынужденной служебной верностью держит его на поводу; в нем говорит глава самосознающегося ведомственного государства, опираясь на ведомственный парламент и на множество подчиненных ему паритетных и парламентских собраний.

Он входит в состав общего государства, представленного политическим парламентом. Он и его государство должны подчиняться общей политике; в осуществлении своих специальных задач они обладают большой свободой.

Приведем пример. Государство воспитания выработало принципиальную реформу всего школьного дела; она стоит ежегодно три миллиарда. Предварительное сношение с министерством хозяйственного государства дало тот результат, что оно вообще не склонно ничего ассигновать; в конце-концов удалось добиться обещания дать один миллиард, если последует соответствующее решение общего парламента—потому что удалось показать, что успехи воспитания выгодны и в хозяйственном отношении. Главный парламент одобряет план, устанавливает расход в два миллиарда и поручает хозяйственному государству добыть средства. Допустим, что хозяйственное государство образует единство с государством транспорта; тогда оба руководящих министра, в согласии с своими ведомственными парламентами, приходят к соглашению нести расходы пополам. Задача теперь опускается ниже. В хозяйственном парламенте решают собрать выпавшую на его долю часть на одну треть с помощью прямых налогов. Этим должны заняться собрания, ведающие налоги

и сборы. Третью часть должна добыть промышленность, и это есть дело промышленного представительства, третью часть— торговля, и это есть дело торгового представительства. В промышленном представительстве об'единенные работодатели и рабочие решают обложить гильдии; по 166 с половиной миллионов должны нести гильдии тяжелой и обрабатывающей индустрии. Последние вырабатывают теперь между собой пропорцию распределения и форму взимания для отдельных гильдий.

Обструкция невозможна, ибо в случае возражений, непонимания или противодействия решает ближайшее высшее представительство, в последней инстанции решает главный парламент, от которого, таким образом, требуется уже не понимание дела, а только логическая сообразительность, и который даже в самом несчастном случае длительного заблуждения может причинить только частичный вред, а не опустошение. При нормальном ходе вещей все решения принадлежат компетентным инстанциям, все мероприятия суть дело органического самоуправления, ни одна заинтересованная группа не исключена, страна, в многообразии местных и профессиональных элементов, управляет сама собой. Неудовлетворенным остается лишь тот, кто требует привилегии или диктатуры.

Этим разрешаются все противоречия между централизующими и децентрализующими стремлениями, ибо примирены противоположные понятия единого государства и единичных государств.

Что общее государство может быть только единым государством— это понятно само собой. Ведомственные же государства вполне свободны в своем местном расчленении, они не связаны границами стран, и могут, смотря по своему своеобразию, охватывать племенные единства, хозяйственные единства, единства исторической и культурной традиции, поскольку они нуждаются в местном расчленении.

Хозяйственное государство есть прежде всего профессиональное государство, поскольку в нем представлены участники всех профессий, —т.-е. в будущем все граждане. Поскольку оно имеет местные расчленения, оно изберет деления по главным хозяйственным районам.

Религиозное государство будет расчленяться по округам преобладающих исповеданий. В государстве культуры будут преобладать исторические общины, города и университеты. Безвредные партикуляристические остатки сохранятся в расчленении административного государства. Они поведут к опыту, который ощутителен уже теперь:

именно, что растущая демократизация требует растущей централизации, в особенности при росте эгоистических стремлений и упадке общественного чувства.

10.

Упрек в утопизме не может меня задеть.

Нам так больно от того, что есть и совершается, и еще больнее от того, что некогда прикрашивалось и имело обманчивую видимость, а теперь обнаружилось во всей наготе и ужасе, что каждый открывает свою грудь и повторяет слова: уже не больно.

Кто высказывает что-либо непривычное, неудобное или непонятное большинству, привык, что над ним глумятся с чувством превосходства. Когда потом через много лет его слова исполняются, раздаются возгласы: „Мы все это говорили“.

Вы, мои критические друзья, некогда затрудняли мою работу; теперь вы ее облегчаете. Все, чего вы не понимаете, вы называете плоским, все, что вам неприятноуто—пическим. Что кажется вам легким, вы называете легкомысленным, чего вы не можете чувствовать, то для вас неясно и мистично. Ах, друзья, направляйте ваши удары на мою личность. Утверждайте, что я проповедую аскетизм и потом говорите, что я живу не в согласии с моим учением. Вам поверят; ибо как может кто-либо писать то, что он пережил, и переживать то, что он пишет?

Серьезно говоря, я благодарен вашему зложелательству. Если бы вы не усвоили себе понятий, которые вы хулите, то многое не проникло бы в народ. Меня радует, когда вы превращаете в фельетон то или иное положение, на которое, по вашему мнению, было недостаточно обращено внимания. Кто-то сказал мне: ваши писания—клад для заимствований. Так и должно быть! Дождь не спрашивает о том, что становится из ручьев.

Итак, вперед друзья! „Утопия“, „дилеттанизм“, „столичные взгляды“—и после всего, что я вам только что доверил, „холодное самомнение“! А теперь, пусть каждый из нас идет своим путем.

Мне нужно теперь, в заключение, сказать серьезное слово тем немногим, которые разделяют со мною общую ответственность и которым близки мои чувства и мысли.

Изумителен путь, который в течение одного века прошли низшие слои европейского общества. Они начали с положения робкой бесправной толпы крепостных, дворовых, земледельческих работников,

мелких ремесленников, мануфактурных рабочих, и они дошли, по числу и значительности, до положения ядра наций. Они стоят на том месте, где стояла буржуазия на пороге XVIII века, но прошли ее путь в десять раз скорее.

Все господствующие устройства суть продукт буржуазии. Их смысл при незначительных уклонениях один и тот же: буржуазия, охраняемая монополией капитала и образования, защищает во вне и во внутрь свое духовное и материальное достояние. Она опирается на бюрократию, которая состоит из монополистов образования, и направляется монополистами капитала. Она господствует через посредство демократического парламента, выборы в который осуществляются под действием буржуазных, отчасти церковных, традиций и под духовным руководством буржуазного слоя, бюрократии и печати.

Это оболочка уже не соответствует ядру. Остаток фикции опирается на остаток бесправия: на недостаток образования у пролетариата. Множество отдельных лиц из состава пролетариата с изумительной силой проложили брешь в этой грани; достаточно будет двух поколений, чтобы совсем удалить ее. Грядущее устройство не должно впадать в ошибку, которую доселе совершал немецкий феодализм: „станьте похожими на нас и тогда требуйте того, что у нас есть“! Общество, которое лишает массы образования, должно будет вытерпеть, что учащиеся проделают свой опыт на его спине. Если оно будет предусмотрительно, то этот процесс может совершиться без особых затруднений.

Пережитое нами мировое потрясение было не войной народов, а войной буржуазий. Немецкая социал-демократия большинства никогда не оправится от того, что она этого не поняла, что она не осмелилась игнорировать ту часть масс, в крови которой было больше от подданного, чем от пролетария. Буржуазия, которая в последний раз империалистически перенапрягла свои силы, пока разбита только в побежденных странах, в странах победивших она господствует в упоении и торжествует на мирном конгрессе свою империалистическую тризну.

Но духовный пожар безостановочно движется с востока на запад. Подземными слоями, глубже, чем проникают пограничные столбы, лава пролагает себе путь. Подкопанная почва со всем наследственным достоянием, возведенным на ней, низвергается в пламя. Почему мы, зрячие, непривязанные к идолам наших предков, противодей-

ствуём этому стихийному духу в его пламенной форме? Потому-ли, что мы надеемся задержать поток или потому, что мы защищаем крохи собственности?

Нет. Лишь потому мы изо всех сил защищаемся от него, что дело идет о цивилизации и культуре Европы. Русский лесной пожар исполняет свое назначение; через десятилетия из опустошения вырастет новое, быть может, лучшее человеческое общество. Можно желать лесного пожара, если не боишься смерти миллионов; но это не есть история, не есть политика, это самоубийство народов и сознательно замышленная катастрофа. И не любовь, а лишь фанатизм заключен в уничтожении живущих ради еще не рожденных. Иначе и империализм, который бросил в войну миллионы людей, чтобы обогатить классы, и инквизиция, которая сжигала тело, чтобы спасти душу, могут похвалиться любовью.

Мы боремся изо всех сил против этого потока, чтобы спасти самое необходимое для исторической преемственности, чтобы спасти то, что еще можно спасти из нашей культуры. Это лишь постольку правомерно и осмысленно, поскольку мы противопоставляем крайнему и стихийному одухотворенное и жизненно сильное, а не изжитое и отмершее. Германия, вновь организованная в соответствии с своей самобытной природой и опирающаяся на разум и справедливость, выдержит бурю с востока и давление с запада; но этих сил не выдержат гнилые союзно-государственные и бюрократические леса, окрашенные в цвета свободы по моде, господствовавшей сто лет тому назад.

Далее. Мы должны забыть все от прежнего империалистического и массового государства, включая и то, что мы причисляли к политике народонаселения и что было умышленным исскуственным перенаселением. Наше величие не может уже заключаться в количестве и об'еме. Быть может, поэтому было бы логично поставить вопрос: не хорошо ли, что Голландия и Фландрия, Швейцария и Австрия ведут свою собственную, чуждую нам жизнь, и все же по германскому образцу. Не увеличено ли этим мировое богатство? Не таит ли офранцуженный Эльзас, оторванная от нас и подчиненная Западному влиянию Рейнская область надежду на новую жизнь германско-духовного происхождения?

Быть может, это логично, но это не человечно. Совершенно независимо от вопроса о благосостоянии наименьшего возможного хозяйственного единства, здесь вступает основное чувство—братское

чувство народного единства. Оно может быть оттеснено назад в отношении Голландии и Швейцарии; и здесь оно не умерло, а лишь умерено уважением к свободе и к своеобразию ближнего. Но наши рейнские братья принадлежат к нам и невыносимо больно будет нам многолетняя отделенность от них и забота о связи с ними.

В течение многих лет до войны я жаловался на недостаточную способность Империи к агломерации. Кто жил внутри Германии, в атмосфере успеха, чувствовал себя защищенным; чужие отталкивались от нас, а кто уходил, уже не возвращался. Старая, исполненная ненавистью атмосфера покровительства одним и зложелательства к другим отошла в прошлое, но возникла новая ненависть и новые распри. Недостаточно освежить дом, яд засел в бревнах и стенах. Лишь новый дом, дом справедливости, может быть полезен нам, может побуждать соседей пристраиваться и призывать единоплеменников из Ахена, Кельна и Трира к позднейшему возвращению.

Есть ли у нас еще силы построить собственный дом? Наш духовный уровень глубоко понизился—Веймар это показывает. Мы уже не народ поэтов и мыслителей. В течение долгого времени мы смешивали способности с характером, и при этом придавали исключительное значение способностям, которые допускают обучение, дисциплину и организацию. С момента крушения насилия и дисциплины и эти способности как будто исчезли. Ужаснейшее потрясение не выдвинуло ни одной новой мысли, ни одного духовного человека.

Революция опрощается. Вопросы вознаграждения, оплаты и мест служат ее содержанием, филистерство есть ее форма. Вновь выдвигаемые требования слева столь же неисчерпаемы, как и требования справа; ведется старая борьба, лишь в более грубых формах. От случая зависит, несемся ли мы навстречу диктатуре или хаосу.

И все это имеет место еще раньше, чем мы начали ощущать сполна тягость положения, раньше, чем хотя бы один из десяти немцев понимал, что случилось и что нам предстоит. Еще попрежнему терпеливый печатный станок дает если не хлеб, то бумажные знаки и видимость. Все еще благосостояние держится на бумаге, все еще работа легка, и стачка легче работы. Все еще дается возмещение удовольствия, порядка и хозяйственного оборота.

Составляем ли мы еще нацию? То, в чем мы клялись тысячью

клятв, теперь забыто. Ни один народ не давал унизить и раздробить себя с большим равнодушием. Веймар говорит, комиссии путешествуют, страна празднует, Спартак устраивает восстания, Берлин танцует.

А в стране—голод, лихорадка, усталость. Есть ли все это? Да, все это есть. Горе, если бы было иначе! С тем, кто страдает, не спорят. Мы укрепим наше сердце, нашу волю, нашу надежду. Мы построим наш дом.

Издания К-ва „БЕРЕГ“.

ЕВРОПА ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

Бердяев Н. А., Букшпан Я. М., Степун Ф. А., Франк С. Л.—Освальд Шпенглер и Закат Европы.

Котляревский С. А. и Фельдштейн М. С. — Политическая карта Европы после Версальского мира.

Котляревский С. А., Букшпан Я. М., Юровский Л. Н., Каценеленбаум З. С., Силин Н. Д., Бернштейн-Коган С. В., Вормс А. Э. — Международные проблемы. — Статьи о политике и экономике современной Европы.

Деманжон. — Экономический упадок Европы, пер. с франц., с предисл. Л. Юровского (гот. к печ.).

Вальтер Ратенау. — Новое государство. Пер. с нем. Предисл. Я. Букшпан.

КУЛЬТУРА ВОСТОКА.

Омар Хаям.—Персидские рубаи. Пер. О. Румер.

Б. П. Вышеславцев. — Современная Индия (гот. к печати).

Дармстетер. — Происхождение персидской поэзии. Перев. и предисл. проф. Л. Жиркова.

С. Л. Франк. — Очерк методологии общественных наук.

Н. Д. Силин.—Деньги и денежное обращение (гот. к печати).

Н. К. Мекк.—Наши пути сообщения (гот. к печати).



БЕРЕГ